# Я это видел

***Можно не слушать народных сказаний,
 Не верить газетным столбцам,
 Но я это видел. Своими глазами.
 Понимаете? Видел. Сам.

Вот тут дорога. А там вон — взгорье.
 Меж нами
 вот этак —
 ров.
 Из этого рва поднимается горе.
 Горе без берегов.

Нет! Об этом нельзя словами…
 Тут надо рычать! Рыдать!
 Семь тысяч расстрелянных в мерзлой яме,
 Заржавленной, как руда.

Кто эти люди? Бойцы? Нисколько.
 Может быть, партизаны? Нет.
 Вот лежит лопоухий Колька —
 Ему одиннадцать лет.

Тут вся родня его. Хутор «Веселый».
 Весь «Самострой» — сто двадцать дворов
 Ближние станции, ближние села —
 Все заложников выслали в ров.

Лежат, сидят, всползают на бруствер.
 У каждого жест. Удивительно свой!
 Зима в мертвеце заморозила чувство,
 С которым смерть принимал живой,

И трупы бредят, грозят, ненавидят…
 Как митинг, шумит эта мертвая тишь.
 В каком бы их ни свалило виде —
 Глазами, оскалом, шеей, плечами
 Они пререкаются с палачами,
 Они восклицают: «Не победишь!»

Парень. Он совсем налегке.
 Грудь распахнута из протеста.
 Одна нога в худом сапоге,
 Другая сияет лаком протеза.
 Легкий снежок валит и валит…
 Грудь распахнул молодой инвалид.
 Он, видимо, крикнул: «Стреляйте, черти!»
 Поперхнулся. Упал. Застыл.
 Но часовым над лежбищем смерти
 Торчит воткнутый в землю костыль.
 И ярость мертвого не застыла:
 Она фронтовых окликает из тыла,
 Она водрузила костыль, как древко,
 И веха ее видна далеко.

Бабка. Эта погибла стоя,
 Встала из трупов и так умерла.
 Лицо ее, славное и простое,
 Черная судорога свела.
 Ветер колышет ее отрепье…
 В левой орбите застыл сургуч,
 Но правое око глубоко в небе
 Между разрывами туч.
 И в этом упреке Деве Пречистой
 Рушенье веры десятков лет:
 «Коли на свете живут фашисты,
 Стало быть, бога нет».

Рядом истерзанная еврейка.
 При ней ребенок. Совсем как во сне.
 С какой заботой детская шейка
 Повязана маминым серым кашне…
 Матери сердцу не изменили:
 Идя на расстрел, под пулю идя,
 За час, за полчаса до могилы
 Мать от простуды спасала дитя.
 Но даже и смерть для них не разлука:
 Невластны теперь над ними враги —
 И рыжая струйка
 из детского уха
 Стекает
 в горсть
 материнской
 руки.

Как страшно об этом писать. Как жутко.
 Но надо. Надо! Пиши!
 Фашизму теперь не отделаться шуткой:
 Ты вымерил низость фашистской души,
 Ты осознал во всей ее фальши
 «Сентиментальность» пруссацких грез,
 Так пусть же
 сквозь их
 голубые
 вальсы
 Торчит материнская эта горсть.

Иди ж! Заклейми! Ты стоишь перед бойней,
 Ты за руку их поймал — уличи!
 Ты видишь, как пулею бронебойной
 Дробили нас палачи,
 Так загреми же, как Дант, как Овидий,
 Пусть зарыдает природа сама,
 Если
 все это
 сам ты
 видел
 И не сошел с ума.

Но молча стою я над страшной могилой.
 Что слова? Истлели слова.
 Было время — писал я о милой,
 О щелканье соловья.

Казалось бы, что в этой теме такого?
 Правда? А между тем
 Попробуй найти настоящее слово
 Даже для этих тем.

А тут? Да ведь тут же нервы, как луки,
 Но строчки… глуше вареных вязиг.
 Нет, товарищи: этой муки
 Не выразит язык.

Он слишком привычен, поэтому бледен.
 Слишком изящен, поэтому скуп,
 К неумолимой грамматике сведен
 Каждый крик, слетающий с губ.

Здесь нужно бы… Нужно созвать бы вече,
 Из всех племен от древка до древка
 И взять от каждого все человечье,
 Все, прорвавшееся сквозь века,-
 Вопли, хрипы, вздохи и стоны,
 Эхо нашествий, погромов, резни…
 Не это ль
 наречье
 муки бездонной
 Словам искомым сродни?

Но есть у нас и такая речь,
 Которая всяких слов горячее:
 Врагов осыпает проклятьем картечь.
 Глаголом пророков гремят батареи.
 Вы слышите трубы на рубежах?
 Смятение… Крики… Бледнеют громилы.
 Бегут! Но некуда им убежать
 От вашей кровавой могилы.

Ослабьте же мышцы. Прикройте веки.
 Травою взойдите у этих высот.
 Кто вас увидел, отныне навеки
 Все ваши раны в душе унесет.

Ров… Поэмой ли скажешь о нем?
 Семь тысяч трупов.
 Семиты… Славяне…
 Да! Об этом нельзя словами.
 Огнем! Только огнем!***